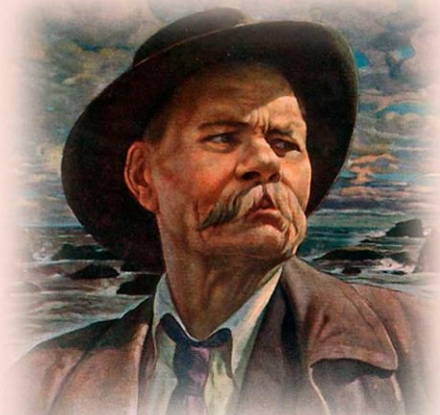


МАКСИМ ГОРЬКИЙ



Рассказ о безответной любви



*«Рассказ о безответной любви» — произведение русского прозаика и драматурга, одного из самых известных в мире русских писателей и мыслителей А. М. Горького (1868–1936).****

Это история несчастной любви простого мужчины к актрисе-красавице. Трагедия, которая расширяется в объемную картину состояния общества и мира вообще.

Перу Горького принадлежат и такие произведения: «На дне», «Васса Железнова», «Жизнь Клима Самгина», «Челкаш», «Фома Гордеев».

Максим Горький

Рассказ о безответной любви

Проходя Театральным переулком, я почти всегда видел у двери маленькой лавки, в пристройке к старому, деревянному дому, человека, который казался мне не на своём месте и лишним в этой узкой, тёмной щели города, накрытой полосой пыльного неба.

Человек или сидел у двери на стуле, читая газету, или стоял в двери, опираясь плечом о косяк, сложив руки на груди. Маленькая вывеска над его головою чёрными косыми буквами говорила, что в лавочке продаются «Канцелярские принадлежности». За мутным стеклом окна были разложены пачки конвертов, блокноты и пёстрые коллекции старых марок на квадратных картонах.

Иногда я останавливался пред окном, будто бы разглядывая покрытый пылью, выцветший, жалкий товар, и незаметно наблюдал торговца, а он сосредоточенно смотрел в окна дома против его, на старый ящик из кирпичей, обломанный временем, с извилистой трещиной в стене, с двумя рядами тусклых окон, по четыре в ряд; карнизы их засижены голубями, в потоках голубинового помёта и ржавая вывеска над окнами нижнего этажа:

«Портной Мучник».

Вероятно, не менее сотни лет стоит на земле этот дом. И весь переулок — две унылые, грязные линии таких же старых домов, плотно прижатых один к другому.

Человек — в длинном, очень потёртом сюртуке, под сюртуком чувствуется сухое, но стройное тело; ноги — в разношенных ботинках, но видно, что ступня их мала, хорошей формы. Лицо густо обросло серой, аккуратно подстриженной бородкой, седоватые волосы удлинённого черепа гладко зачёсаны за уши, маленькие и вырезанные чётко. Волосы, должно быть, очень мягкие, они лежат плотно, точно склеены. В этой причёске есть что-то «интеллигентное», но она не гармонирует с длинным, сухим лицом, и кажется, что благодаря именно ей хрящеватый, тонкий нос так подчёркнуто печально высунулся вперёд. Странные глаза у этого человека: белки их синеваты, зрачки рыжего цвета, они прорезаны узко, взгляд их холоден, прям, но всё-таки кажется, что смотрят они вниз, в землю.

Я стоял у окна минуты по три и более, ожидая, что человек этот спросит наконец:

«Что вам угодно?»

Но он как будто не замечал меня, неподвижный, скрестив руки на груди, окружённый незримым облаком скуки, раздражавшей моё любопытство. Что сторожит он, о чём скучает?

В лавку его забегали гимназисты покупать марки для коллекции, он впускал их в дверь неохотно, говорил с ними кратко, как бы исполняя чужое, не интересное ему дело. И когда я вошёл в его лавочку купить конверты, он меня встретил так же нелюбезно, завернул покупку, кратко сказал цену и скрестил руки на груди, явно ожидая, скоро ли я исчезну.

— Давно торгуете?

— Давно.

— Глухое место?

— Да.

— Нет ли у вас старинных монет?

— Не имею.

Более чем ясно — этот человек не хочет говорить. Но мне попала на глаза открытка — портрет женщины; прикрыв рот веером из перьев страуса, она сидела в широком кресле, глаза её улыбались кокетливо, но как будто иронически, лицо — хмельное или очень капризное. Внизу открытки напечатано:

Лариса Антоновна Добрынина, известная артистка провинциальных театров».

Ещё открытка: та же дама в роли Офелии, со снопом цветов в руках, но глаза не безумны, а улыбаются той же непонятной улыбкой. Вот она же в роли Норы, Марии Стюарт, и ещё она, и ещё. На всех портретах одна и та же улыбка кривит её рот, большой, пухлый, резко отделяющий верхнюю часть лица от широкого и туповатого подбородка.

— Лучше всего она — здесь, — внушительно сказал торговец, указывая длинным серым пальцем на портрет в кресле. — Это — моё издание! — добавил он с гордостью.

— Никогда не слыхал её имени, — сказал я.

Он пожал плечами, как бы обидясь.

— Однакож она была весьма знаменита. Имя её гремело.

Он назвал несколько городов, где артистка пользовалась «колоссальным успехом», и, с оттенком пренебрежения к моему невежеству, дал мне, избитыми словами газетных рецензий, характеристику её таланта. Говорил он, закрыв глаза и как будто читая.

— Жива?

— Умерла.

— Давно?

— Девять лет.

Несомненно, это был какой-то чудак. Чудаки украшают мир. Я решил познакомиться с ним ближе, это мне удалось, и вот что рассказал странный человек.

— Чтобы печаль моей истории была понятна вам, я должен начать её издалека, с детских дней. Отец мой, Клим Торсуев, известный мыловар, был человек тяжёлого характера, нелюдим и в ссоре с жизнью, несмотря на богатство и удачу в делах. Огромного роста, редкой силы, волосатый, он ходил по земле наклоня голову, как бык, и в некоторой слепоте от неведомой обиды, нанесённой ему. Можно допустить, что обида — от матери моей, она была дочерью майора Горталова, героя турецкой войны, и когда мне было девять лет, а брату моему Коле — шесть, уехала от нас с одним знаменитым пианистом и вскоре скончалась где-то за границей. Я её помню в костюме русалки, всю в зелёных лентах, в цветах, чёрные волосы распущены до талии, и на голове роса из бриллиантов. В этом виде она спросила меня: «Хороша я?» И когда я сказал: «Да, очень хороша!» — она ласково ударила меня по лбу, говоря: «Вот видишь, а ты меня не слушаешься, не любишь». Я обещал слушаться, но на пасхе она уехала.

Мы сидели в углу маленькой, тёмной комнаты у стола, на нём в серебряных подсвечниках горели

две свечи и в старинном, гранёном графине колебалось рубиновое пламя вина. Тесно и душно в комнате, стены её покрыты, как серой плесенью, пятнами фотографий, в углу жарко натоплена изразцовая печь, к ней прислонилось широкое кресло, в кресле сидит этот человек, вытянув ноги, скрестив руки на груди, глядя на жёлтые цветы двух огней. На узенькой двери в другую комнату, должно быть спальную, висит гитара, гриф её украшен лентами. Против окна на улице горит фонарь, его осыпают стеклянные стрелы дождя, мутный масляный свет фонаря, проникая сквозь мокрое стекло окна, тускло освещает большую раскрашенную фотографию артистки Добрыниной, фотография, в чёрной с белым траурной раме, стоит на мольберте, рама увенчана серебряным венком — лавры и пальмовый лист.

Во всём, что наполняет комнату, чувствуется нечто давно отжившее, какое-то сухое тление, все вещи источают тот странный запах, который дают цветы, высушенные временем до того, что, когда коснёшься их, они рассыпаются серой пылью. Сухое тление слышится и в ломком голосе человека. Речь его почти лишена оттенков, говорит он точно читая, слова падают заученно и легко, напоминая грустное падение побитых морозом листьев дерева, опоздавшего сбросить свой летний убор.

— Восемнадцать лет отец жил вдовцом, в доме у нас не было ни одной женщины, кроме старух: горничной и кухарки. Нашей детской жизнью он, угрюмый, не занимался. Восемнадцать лет я и Коля слышали, чаще всего, сердитый вопрос:

«Это зачем?» Очень пугал он вопросом своим, как бы стену воздвигая между собой и нами; росли мы, прячась от него. В доме у нас было семь комнат, одна другой темнее, и среди множества разной мебели очень удобно было прятаться. Меня он отдал в городское училище, но дальше учиться запретил, сказав:

— «Довольно! Привыкай к делу».

— А Коле, который был слабее меня, позволил кончить гимназию и даже допустил в университет по математическим наукам и химии.

— Умер он в полноте сил и неожиданно; в жаркий день июня, возвратясь домой после крестного хода, выпил домашнего пива со льдом и на пятые сутки лежал в гробу, разбухший, сложив деловые, волосатые руки на вздутом горою животе. Был неописуемо страшен: сердитое лицо его, ощетинаясь рыжими волосами, как бы налилось таким, знаете, синим гневом, и казалось мне, что сейчас вот он крикнет хрипло судьбе своей:

«Это зачем?..»

— Работу на фабрике остановили, и в доме стало так же тихо, как в праздничные дни пасхи или рождества. Началась непривычная суэта, прислуга топала и шаркала ногами шумно, говорила громче, я видел, что все довольны смертью отца, и со стыдом чувствовал, что сам я тоже доволен. При жизни его в доме у нас только мухи жили свободно и могли жужжать полным голосом. Отец шагал по комнатам тихо, всегда прислушиваясь к чему-то, чего-то ожидая, и если кто-нибудь неосторожно хлопал дверью, — это очень сердило его. А теперь только Коля, юноша чувствительный, говорил вполголоса, как привык при жизни отца, и двигался так же тихо, точно опасаясь разбудить уснувшего навеки.

— «Возню какую подняли, — обиженно говорил он. — Как будто обрадовались!»

— «Что же, говорю, Коля, обижаться? Ты знаешь — его не любили. Никто не любил».

— «И ты?» — спрашивает.

— «И ты, говорю, я человек прямой».

— Промолчал он, сидя у открытого окна, а в окно лез густейший запах кислот, гниющего жира, мыла, и запах этот сопровождался необычным шорохом: дворник наш, кривой татарин Мустафа, шаркал метлою по земле, пропитанной жирами, утоптанной до твёрдости асфальта. Раньше, в непрерывном шуме работы на фабрике, этот звук

был бы не слышен, неприятный и эдак, знаете, вычёркивающий звук.

— Коля, высунувшись из окна, сказал:

— «Перестань, пожалуйста, Мустафа!»

— И говорит мне:

— «Он выметает память об отце. Ты разве забыл, что нельзя мести, когда в доме покойник?»

— Утешаю его: «Теперь, говорю, мы с тобой начнём жить легче. Я стану работать, ты — учиться. Тебе не нужно будет просить рубль на театр, и никто не крикнет тебе: «Это зачем?» Пусть, говорю, это нехорошо, но мне отца не жалко. Я не актёр, фальшиво плакать не умею. А вспомни, говорю, как мы с тобой, неделю тому назад, ночью, едва не плакали от обиды? И — сколько было таких обид!»

— Он, глядя в небо, говорит:

— «Какое небо бесцветное и жёсткое, жестяное... А фабрика наша и вся земля — как ржавчина и грязь на жести».

— Такие мысли часто являлись у брата, и необычность их очень нравилась мне. О земле он говорил всегда с печалью и жалобно, как больной о теле своём. Но был он здоров, хотя тоненький, хилый, и такой, знаете, нежный, девичий румянец на щеках. Волосы тёмные, волнистые, чёрные глаза его смотрели на всё недоверчиво и как будто удивлённо. Учился играть на рояли втайне от

родителя и вообще имел в себе что-то тихое, музыкальное.

— Говорю ему:

— «Самое лучшее, Коля, чего достиг отец при жизни, — это наша братская дружба. Тяжёлому его характеру обязаны мы тем, что он притиснул нас вплоть друг другу, мы крепко и взаимно любили один другого, я хочу, чтоб эта любовь так и осталась на всю нашу жизнь. Хотя я и старше тебя, но знаю, что неуч рядом с тобою. Ты живёшь другой жизнью, чем я, мысли у тебя свои, и тебе приятна игра воображения. Вот сейчас ты о небе сказал, а я не могу сказать так, не умею. И часто бывает: не понимаю я, о чём ты говоришь и почему?»

— Тут он спросил, как будто виноватый:

— «Что же я говорю особенное?»

— «Не перебивай меня! Вот, говорю, ты жалеешь и любишь землю, как плоть твою, а я хожу по ней вполне спокойно. Я не воображаю себя другим человеком, я осуждён жить в том образе, каков есть. Я думаю только о фабрике, о делах, о невесте моей. Боюсь я, что тебе будет скучно жить со мною и разведёт нас эта скука по разным дорогам. А ты — ещё мальчик, характер у тебя не окреп, время же теперь — трудное, студенты волнуются. Тебя могут втянуть в опасную политику, и ты погибнешь, подобно многим. Вот я

люблю невесту мою, но, когда подумаю, что войдёт к нам она женой моей и я должен буду отдать ей часть жизни, — я боюсь. Жена моя может не понравиться тебе. И вообще правильно говорят: «Женщина в семью — как клин в дерево». Потом пойдут дети. А — как же ты? И вот, Коля, решаю я подождать жениться, чтоб ты не потерял меня...»

— Он печально говорит:

— «Не желаю я, чтоб ты приносил себя в жертву мне».

— Именно так и сказал. Но я говорил ещё и ещё, всё весьма убедительно, и кончилось, как я того хотел: обнялись мы крепко и дали друг другу клятву не разлучаться ни в каком случае жизни и никогда ничего не скрывать друг от друга. Сознаюсь, тут, видите, кроме действительной любви к брату и некоторый расчёт был: двенадцать лет жил я, как зоологический зверь в клетке, ничего, кроме мыловаренного дела, не видя и не понимая. Я даже в городе редко бывал, там дела вёл отец. А Коля, через два, три года, обещал быть учёным химиком, и потом имел он черту тихого такого упрямства, мне казалось, что эта черта тоже обещает много. Он читал серьёзнейшие книги, даже на иностранных языках, говорил о политике и вообще очень интересно разбирался в суматохе жизни. Могу сказать, что жизнь занимала его мысли в той же мере, как фабрика — мои, иными

словами: Коля относился к жизни, как к своему хозяйству. И не скрою, что это было несколько смешно, несмотря на серьёзность слов. Я сообразил, что ведь невеста от меня не уйдёт, она была весьма влюблена, а брата, который умнее и делу нашему полезнее, я легко могу потерять. Но — прежде всего, я любил Колю...

Всё время человек говорил одностонно, как бы читая псалтырь, и глаза его были закрыты. Но тут он открыл их, — они были красны, полны слёз и тоски.

— Я его любил! — повторил он, выпил стакан вина и, вытирая глаза платком, продолжал более оживлённо:

— До конца сентября, до начала театрального сезона, мы с Колей прожили незабвенно хорошо, в тесном единении и откровенных беседах, хотя Колю начали посещать товарищи. Один из них, Богомолов, медик из семинаристов, был неуклюжий, грубоватый, громогласный парень и такой, знаете, назойливо умный. Есть люди, у которых вместо души популярная библиотека, — он был из этого племени. Он с первого раза не понравился мне, потому что пришёл со словами о свободе, свобода же, сударь мой, есть фальшивая иллюзия. Я почувствовал это тотчас же после смерти отца, когда фабрика начала работать и жизнь моя пошла неизбежной своей тропею. При

жизни родителя я был свободнее, хотя и в плену его власти, а умер отец, и — стало ясно, что свобода налагает нестерпимую ответственность за каждый вздох души. А господин Богомолов начал утверждать и проповедовать, что человек совершенно свободен, существует сам для себя, он — есть круг, в коем сходятся все начала и концы, и весь мир, вся жизнь в нём, внутри его, — явная нелепица. В бога же господин Богомолов, отрицая свою фамилию, не веровал, и все его умствования были бесцельнее полёта стрижа, который мечется над землёю по воздуху, ловя невидимых мошек, — стало быть: преследует свою цель. Я, конечно, пытался доказать господину Богомолову, что его совершенная свобода есть сущая и совершенная бесцельность, но он, будучи сыном протоиерея, проповедовал с большим умением и, конечно, загонял меня в угол. Он показался мне очень опасным для Коли. Узкогрудый и тоненький, с девичьим румянцем своим, Коля стал ещё более юным и беззащитным около этого гривастого, тёмного поповича; речи его о свободе Коля слушал доверчиво и почтительно. А я уже тогда предчувствовал, что человек и во сне не свободен и даже неподвижность камня не есть свобода, ведь и камень существует до времени, пока его не изотрёт в песок. Каждый человек — раб и пленник разнообразных обстоятельств жизни, дьявол — раб

своей злобы, а господь бог, — если он существует, — раб деяний своих, недоступных разуму человека. Вот мои мысли о свободе!

От слов рассказчика по комнате как будто разлеталась сухая и едкая пыль насмешливого раздражения; в каждом слове я чувствовал торжествующую убеждённость человека, которому жизнь любезно позволила оправдать и укрепить схему его мысли достаточным количеством фактов. В этом отношении жизнь неистоичимо милостива. Огни свеч отражались в его рыжих зрачках золотыми искрами, синие белки стали теплее, он приподнял тонко очерченные брови, и на его сухом лице явилось выражение самодовольного уныния.

— Я всю жизнь занимался одним делом, и у меня поэтому очень хорошая память, всё прожитое я вижу как бы написанным на стене, — продолжал человек, кивнув головою в угол.

Там, на круглом столике, в бронзовой вазе торчал букет высушенных цветов, они казались вылепленными из какой-то грязноватой массы, формы их были уродливы, и, только внимательно рассмотрев их, я понял, что это цветы.

— Кроме Богомолова, который смешно называл себя нищанцем, ходил к нам ещё студент Павлов, сын почтмейстера. Этот был более приятен; маленький, худой, с мордочкой и бородкой козла, он имел в себе что-то шутовское,

от клоуна, и, желая скрыть это качество, носил золотые очки. Был очень шумен, всё, чего касались его лёгкие руки — посуда, мебель, — стучало особенно громко. Говорить он мог только о театре и, несмотря на явное его легкомыслие, печатал в газетах рецензии о спектаклях. Он знал актёров всей России и, когда был опубликован состав новой труппы городского театра, смешно волновался:

— «Л. Добрынина? — кричал он. — Не знаю, никогда не слышал. Л? Любовь? Людмила? Лидия? Как вы думаете?»

— До начала сезона он не успел познакомиться с Ларисой Антоновной, потому что пьяный, вывалившись из саней, разбил себе голову о тумбу. Давно уже помер человек этот, но я и до сего дня недоволен им. Есть на земле особенные человечки, сам по себе такой человечек как будто и не плох, — но вашей душе напоминает только плохое. И, сидя с такими, вы чувствуете, что он чем-то будит именно дурное ваше. Да и вообще — удивительные люди водятся на Руси, — люди, как бы нарочно рождённые для шумного занятия пустяками. Особенно много таких людей вокруг театра. На первый спектакль я с Колей взял билеты во втором ряду кресел, приплёлся и Павлов с завязанной головою.

Человек шумно вздохнул, как бы готовясь поднять тяжесть, выпил вина и, снова закрыв глаза,

долго укладывал руки на груди; пальцы рук странно шевелились.

— Шёл «Гамлет». И вот явилась на сцене Офелия...

Открыв глаза, человек строго проговорил:

— Должен объяснить, что театр не нравится мне. Это какая-то торговля человеческой душой в розницу, по мелочам; выставка неискусно придуманной игры фальшивых чувств или же — осмеяние людей, которые только потому кажутся смешными, что живут простодушнее других. До этого дня я был в театре не более десяти раз и всегда уходил из него с таким чувством, как будто меня хотели обмануть, но не удалось. Я не заметил, когда вышла на сцену Лариса Антоновна, но, услышав новый голос, взглянул: стоит Офелия и смотрит прямо на меня с удивлением и такой, знаете, нерешительной улыбкой. Бывает иногда, на рассвете, — в темноту комнаты пробьётся сквозь щель ставня или занавесь жемчужная ниточка солнечного луча в такой осязательности, что, кажется, можно взять рукою этот милый луч. И вот так же осязательны показались мне лучи глаз Ларисы Антоновны. А голос её сочен, глубок, — голос женщины, хотя говорила она жалобно и робко, как подобает девушке Офелии, безответно влюблённой. Пред нею стоял нахалом Гамлет, в чёрном весь, как трубочист, изображал его известный тогда Аяров.

Человек впервые усмехнулся, обнажив белые, плотные зубы.

— Об этом Аярове стишки злые помню. И со свистом, сквозь зубы он прочитал:

Как свеча из воска ярого
От жары уныло топится,
Так и от игры Аярова
Зритель с горя в Волге топится!
Если ж Кином он прикинется,
Из архива им же вынутым, —
Вместе с Кином опрокинутым
И смысл здравый опрокинется!

Прочитал, потемнел и продолжал тихо и медленно:

— Не могу рассказать, что испытал я в тот вечер, но скажу, — пусть это кощунственно, — я как будто впервые причастился святых тайн красоты. Хотя это не мои слова, их кричал в антракте Павлов, он вообще говорил храбро, не оглядываясь на смысл речи. В театре он становился подобен пьяному, а в этот вечер особенно живо хватал лёгкими руками людей за пуговицы, лацканы, рукава, неистовствуя, как подкупленный:

— «Очарование! Талант! Божественная красота!»

— После сцены сумасшествия он даже плакал, а потом потащил меня и Колю в уборную к Ларисе Антоновне. В уборной он весь рассыпался словами, целовал руки ей и вообще вёл себя театрально, как принято в их быту. Я видел её такой же, как на сцене, с той же улыбкой на лице и те же лучи глаз, — глаза у неё были синеватые, спокойные, с улыбкой в глубине, а рука — сухая, горячая.

— Слушая Павлова, она смеялась негромко и как бы не веря похвалам его.

— «А вам я нравлюсь?» — спросила она.

— Я думал — это она меня спрашивала, и хотел достойно ответить, но услышал тихий голос Коли:

— «Да. О да!» — сказал он.

— Тут я почувствовал, что некоторое время брат был забыт мною, хотя мы стояли рядом. Это очень сконфузило меня, а восторг Коли — встревожил. Я увёл его, в театре была моя невеста, дочь крёстного отца Коли, мы пошли к ней. Она была барышня образованная, училась два года на курсах в Москве и тоже — театралка. Миловидная такая, здоровая и весёлая, с румянцем во всю щёку и с большим пристрастием к сладкому. Ей Лариса Антоновна не понравилась:

— «Женщина оригинальной красоты, но ведь она не умеет играть, ходит по сцене для себя и точно ищет потерянную ею брошку...»

— В этом было что-то верное, я тоже вспомнил, что Лариса Антоновна часто опускала глаза и как будто не туда идёт, мимо людей. Коля начал спорить с невестою моею, а я, будучи наслышан о свободном поведении актрис, подумал, что наверное увлечётся он Ларисой Антоновной и это потребует значительных расходов на подарки ей.

Строго, точно обвиняя меня в чём-то, человек сказал:

— Но — я подумал об этом, потому что... хотел скрыть другую мысль, да-с! Прошу вспомнить, что оба мы воспитывались без женской ласки. К тому же, несмотря на годы, я был человек сдержанный из боязни постыдной заразы. Была одна слободская девушка, швея, приятная мне, но вскорости погибла от укуса бешеной собаки. Около нашей фабрики довольно часто собаки бесились. Таков был я, а Коля — совершенно чистый девственник. И мне надлежало служить вождём его судьбы. Понимаете?

Но, закрыв глаза, он покачал головою, тихо говоря:

— Всё это — не так, не так...

И, помолчав, продолжал обречённо, точно против воли:

— Когда я с Колей ехал домой, он всю дорогу, улыбаясь, молчал, и мне было понятно: молчит он о

том же, что и я. Дома, за чаем, мы разговорились, как всегда, сердечно, и я прямо сказал брату, что хочу искать благосклонности у Ларисы Антоновны и вполне надеюсь на успех. Сказал я это нарочно в самых грубых словах, но, конечно, никаких надежд не питая и не думая о них. Он рассердился на меня, чего я ожидал, рассердился и с большим жаром стал говорить о прекрасной душе женщины, говорил книжно и отчасти даже стихами. Разумеется, я высмеивал его речи, хотя они были приятны мне и завидовал я красноречию Коли. Сердитый, он ушёл спать. И я тоже лёг, но среди ночи встал и долго молился, — тогда я был уверен, что бог — есть и несчастья людей не угодны ему. Молился я о том, чтоб всё это — Лариса Антоновна, Колино увлечение и смута в душе моей — прошло, как сон. Ночь, помню, была лунная, и очень выли собаки...

— Н-ну-с, через день мы снова поехали в театр. Лариса Антоновна играла «Даму с камелиями». Это пьеса неприятная, как вы, конечно, знаете, в ней всё рассчитано на возмущение души жалостью. Но и в ней Лариса Антоновна затмила всех неподражаемой своей красотой. В местах, особенно рассчитанных на жалость, я ей не верил, но когда она говорила обыкновенные, житейские слова, я вспомнил оценку невесты моей: да, Лариса Антоновна — человек для себя, а не для театра! И это было

приятно мне. Нравилась мне в ней такая, знаете, ленца движений и слов. Так жить может только человек очень серьёзный, независимый. И мне показалось, что изображать таких женщин, как эта, с камелиями, Ларисе Антоновне не подобает, не достойно её. Коля печально шептал мне:

— «Не её роль. Скучно играет».

— В антракте мы с Павловым пошли к ней, но она переодевалась и, не пустив нас в уборную, пригласила, сквозь дверь, на новоселье к себе. Квартиру она сняла здесь, напротив...

Человек махнул рукой на окно, — за окном осень — неустанно сеял дождь, в его тонких, стеклянных нитях огонь фонаря, вздрагивая, шевелил жёлтыми лучами, как большой, жирный паук.

— Ну-с, и вот — новоселье. Первый раз в жизни попал я в табунок людей, никогда мною не виданных. Знакомых — только один полицеймейстер Маметкулов, человек кавалерийский и сам весьма похожий на старого коня. Всё очень необычно, столы, например, были поставлены из угла в угол комнаты, и от этого образовалась излишняя теснота. Цветы не в вазах, а рассыпаны по столу, прямо на скатерть. Ну, и многое другое, не говоря о речах. Меня и впоследствии всю жизнь удивляло в каждом собрании образованных людей буйство мысли и

слов, причём каждый старается упрямо доказать, как можно скорее и решительнее, своё разномыслие со всеми другими. Не знаю более неприятного легкомыслия, как эти разговоры о смерти, боге и любви. Семнадцать лет непрерывно слушал я это блудословие языка и не мог привыкнуть к нему. И вовсе это не мудрость, а простое засорение ума. Больше всех шумел Павлов, он в этой тесноте вёл себя хозяином, как механик на фабрике. Была разыграна беседа, очень памятная мне по участию в ней Коли, — участию, неожиданному для меня. Лариса Антоновна сидела в центре общего внимания, в переднем углу под образом, одета в тёмно-красное платье, украшена цветами, пышная и волшебная, вся точно в огне. Рядом с нею — комик Брагин, человек очень богомольный и, как потом оказалось, негодяй. Был он весьма неприятен образом — костлявый, жёлтый, курносый, с провалившимися глазами и вообще похож на картинное изображение человеческой смерти. Он и начал разговор сожалением, что нет пьесы, героем которой был бы Христос. «Очень, говорит, хочется мне сыграть Христа». Лариса Антоновна с живостью откликнулась: «А я бы сыграла Марию Магдалину!» Тут вмешался Маметкулов, пожалев, что религиозные пьесы запрещены театрам, и долго доказывал, что народ, ныне теряющий веру в бога,

мог бы оживить веру эту через театр. Вообще — не стеснялись словами.

— Вдруг я услышал тонкий и горячий голос Коли; он сидел далеко от меня:

— «В бога верят люди злые и неискренние».

— Это настолько неприятно ожгло меня, что я едва удержался, хотелось шикнуть на него, — так, знаете: шш! Разумеется, его неосторожные, форсистые слова вызвали большое возмущение, многие обиделись даже, а Лариса Антоновна удивлённо приподнялась, спрашивая:

— «Как? Почему? Объясните!»

— «Я, говорит, объяснить не могу, но я так вижу и чувствую...»

— Конечно, его высмеяли, и Брагин начал рассказывать смешные анекдоты о евреях. На мой взгляд, очень много способствуют травле евреев актёры анекдотами своими. А между тем еврей необходим в жизни, как соль и перец. Заметил я также, что из всех пьющих людей актёры напиваются наиболее неприятно. Очень забавно и противно видеть, как люди фальшивого ремесла, перестав притворяться, обнаруживают истинное своё ничтожество и пустоту души. И вот, когда они достаточно выпили и естественный надзор незнакомых людей друг за другом ослаб, — я выпросил Брагина: кто такая Лариса Антоновна? К моему недоумению оказалось, что она довольно

богатая женщина, помещица, муж у неё овцевод на юге, но она разошлась с ним по причине влечения к театру. Играет всего второй год, дело свое любит, к мужчинам пока равнодушна. И приятно и неприятно было мне слышать это. А Брагин говорит, усмехаясь, как бес:

— «Если вы беспокоитесь насчёт дамских нежностей, так обращаю внимание ваше на Стрешневу водевильную; бабочка молодая, сочная и признаёт свободу действий».

— «Нет, говорю, я не заинтересован в этом, а вот брат у меня...»

— «Ничего, говорит, она и родным ей братом не побрезгует, ежели он достаточно тороват...»

По переулку, сквозь дождь, проехала карета, лучи её фонарей тепло погладили мокрые стёкла окна. Потом снова стал слышен удручающий шорох капель, унылый шум осенней ночи, и жёлтый паук фонаря снова начал плести стеклянную паутину. Человек пристально посмотрел в окно и продолжал тихо сыпать сухую пыль слов, помогая осени творить на земле уныние и печаль.

— Видя, что Брагин этот — негодяй, я, конечно, прекратил беседу с ним, но заметил, что он, подойдя к толстенькой Стрешневой, подмигивал ей на Колю, а она была Брагина цветком по носу, Коля же горячо разговаривал с

Ларисой Антоновной, а Маметкулов кричал на него:

— «Не понимаю молодёжь, которая занимается политикой, религией и вообще — вопросами! В Париже молодые люди просто учатся, просто любят и всё вообще — человечески просто».

— Лариса Антоновна сидела нахмутив брови, играя веером, лицо у неё было недовольное; Павлов, встряхивая козлиной головой, говорил, точно дьячок:

— «Мы, Русь, — еловая арфа мира, мы откликаемся на каждый вздох человечества».

— Колю подхватила под руку Стрешнева и увела в другую комнату, но когда я с ним ехал домой и спросил его: как нравится ему эта весёлая дама? — он ответил неприязненно:

— «Дура и нахалка. А ты, говоря о Ларисе Антоновне грубо, ошибаешься, она очень хороший человек, и душа её в тревоге о серьёзном...»

— И дома он говорил о ней удивительными словами, никогда не слышал я таких слов, и мне было печально от зависти, что я не умею говорить о женщине так возвышенно. И — скажу прямо — жутко было думать: «А что, если Лариса Антоновна слышала бы Колину хвалу?»

— «Ты, говорю, всего второй раз видишь её».

— Но, разумеется, эти слова — капля воды в костёр огня. Кратко говоря — влюбился Коля. Он

стал завсегдатаем театра и в то же время всё ближе сходилась с нищенцем этим, с Богомоловым, тот уже каждый день шагал по комнатам у нас, встряхивая лошадиной гривой, и каркал, каркал. Брал деньги у Коли, которому я положил на расходы сто в месяц. Конечно, я видел, что всё это не приведёт Колю к добру.

Человек встал, подошёл к двери, остановился пред нею и минуту слепо смотрел на гитару.

— Это — инструмент Ларисы Антоновны, но играла она на нём плохо...

Потом, махнув рукою, возвратился к столу, выпил стакан вина и расслабленно опустился в кресло.

— Решил я братски поговорить с ним.

— «Помнишь, говорю, как после смерти отца мы с тобою поклялись ничего не скрывать друг от друга?»

— И вдруг слышу ответ чужого человека, враждебный мне ответ:

— «Да, помню! Я, говорит, тогда же догадался, что ты хочешь встать на место отца и заставить меня жить по твоим законам. Я этого — не хочу. Но тогда у меня не хватило характера прямо сказать тебе об этом. А теперь я говорю: мне противна вонючая наша фабрика, стыдно, что у нас рабочие живут в грязи и чем-то отравляются. В газете про нас написали жестокою правду».

— Говорил он с полчаса, непрерывно, со всей силой юности и неведением жизни. Заявил, что, когда наши рабочие бастовали, он продал за шестьсот рублей часы золотые, отцов ему подарок по случаю окончания гимназии, и деньги эти отдал Богомолу, собиравшему на поддержку стачки.

— Это меня точно камнем ударило, хотя и смешно было знать, что хозяин поддерживает стачку своих же рабочих. Конечно, это — детское, но всё-таки...

— «Коля, говорю, веришь ты в мою любовь к тебе?»

— А он:

— «Я не любви хочу, а свободы...»

— «Коля, ведь я же понимаю, что ты влюбился в Ларису Антоновну и всё идёт от этого...»

— «Это, говорит, никого, кроме меня, не касается».

— Тут я, единственно потому, что желал вытравить из него преждевременную эту любовь, допустил некоторое искажение действительности.

— «Ты, говорю, опоздал, милый, потому что с Нового года Лариса Антоновна живёт со мной».

— Конечно, это показалось ему очень больно, он даже отшатнулся, как будто у него зуб вырвали. Побледнел, смотрит на меня растерянно, губы

дрожат, ложку серебряную согнул вокруг пальца, шепчет:

— «Нет. Неправда. Не может быть».

— Но я придумал убедительные подробности, и Коля поверил мне, встал и молча, боком как-то, криво, оглядываясь на меня, ушёл к себе. А я испугался: то ли делаю, так ли?

— Это было уже в конце сезона, в то время у меня с Ларисой Антоновной установились отношения доброго знакомства; почтительно любясь её необыкновенной красотой, я никаких вольностей не смел позволить себе, а так как в дело её антрепренёра она вложила солидную часть своих денег, я следил, чтоб не обобрали её, она же охотно пользовалась моими советами, уважала мой серьёзный ум и прямодушие моего характера. Решил я спросить её совета насчёт Коли и, приехав к ней в полдень, когда она пила утренний свой кофе, сказал, что вот, мол, брат мой, юноша, любит её, и спросил: как она думает об этом заблуждении? Она сначала пошутила:

— «Вы, говорит, в какой роли выступаете, — сватом брата вашего или соперником ему?»

— Но тотчас же нахмурила брови и, сердито блестя прелестными глазами, с досадой заговорила, что с неё довольно любви мальчиков, стариков, военных, штатских, полицейских и революционеров.

— «Поймите, говорит, я хочу серьёзно заниматься своим делом, и ничья, никакая любовь не соблазняет меня».

— Сидела она, поджав ноги под себя, на диванчике, в малиновом бархатном капоте, — она очень любила бархат, — на бархате серебряные, с финифтью, старинные застёжки, волосы распущены, волосы у неё изумительного обилия и густоты. Смотрит на меня отталкивающими глазами и говорит:

— «Не мешайте мне. Скоро я уеду за границу, летом буду играть в Липецке, и тем временем брат ваш вылечится от детской болезни. В его годы — это легко проходит».

— Ну-с, я был очень успокоен. Сам я, конечно, уже и тогда любил Ларису Антоновну, но тогда это ещё не было известно мне. Теперь я знаю, что полюбил её с первого удара глаз. Сразу. Это — бывает при несчастных случаях. Они — всегда — сразу.

Он замолчал, и, пользуясь паузой, я спросил:

— Действительно — красива была она?

— Разве не видите? — строго сказал он, кивнув головой на мольберт, и поучительно добавил:

— Для других, может быть, и не так красива, но каждый из нас любит самую прекрасную женщину... На первой неделе поста она уехала,

поручив мне все свои дела. Уехала. В цветах, провожаемая восторгами поклонников.

— Один из них, товарищ прокурора, сказал мне, с завистью:

— «Счастливец вы».

— Счастье же моё заключалось в том, что однажды я, осмелев до слепоты в глазах, поцеловал ей руку. Колю, когда он провожал её, она, совершенно напрасно, поцеловала в лоб, сказав:

— «Живите счастливо, юноша».

— И вот остался я с Колей. Он сидел дни и ночи у себя наверху, за книгами, похудев, печальный. С ним — Богомоллов. Как-то, за вечерним чаем, я спросил:

— «Коля, ты сердишься на то, что судьба улыбнулась мне?»

— «Нет, говорит, не сержусь, но мне тяжело, потому что я чего-то не понимаю...»

— Я, кажется, говорил, что в нём была черта упрямства? За эти месяца он как-то незаметно вырос, стал твёрже. И ещё более книжным. Говорить с ним стало мне труднее. Так, в некотором отчуждении, мы прожили до лета, а когда, в июне, Лариса Антоновна приехала в Липецк, Коля тотчас же отправился к ней. Я прожил шесть суток в тихом отчаянии, по ночам у меня волосы на висках шевелились от страха. Я

знал, чего боялся. Так и вышло: на шестой день Лариса Антоновна прислала мне письмо, слова в нём торчали иглами, и даже от бумаги шёл презрительный запах. Она писала:

«Ваш брат сказал мне, что вы хвастались пред ним, будто я живу на содержании у вас. Отвечайте немедленно: говорили вы это? Отвечайте как честный человек, каким я вас считаю». Как честный человек я не мог ответить. Я уже ради её отказался от девушки, невесты, которая любила меня. Из-за неё я потерял любовь к брату и чувствовал, что вся моя жизнь подорвана, покачнулась. Я ответил по телеграфу одним словом: нет.

Человек поднял руку вверх, как это делает свидетель на суде, принимая присягу, и твёрдо, с глубоким убеждением сказал:

— Уверяю вас — ответить иначе я не мог! Понимаете? Не мог.

Синие белки его глаз налились влагой, он смотрел на меня тупо, как слепой, и, растирая пальцами горло, дважды, точно собака, щёлкнул зубами, потом, покашливая, продолжал сипло:

— Я думал, ожидал, что Коля... сделает что-нибудь... Думал, что Лариса Антоновна тоже... например — соблазнится его юностью. Но он, через два дня, прямо с вокзала явился ко мне в контору, не раздеваясь, фуражка на затылке, точно пьяный,

но прямой, как солдат, страшно близко подошёл ко мне и сказал:

— «Пётр, ты — мерзавец».

— Тогда я закричал ему:

— «Послушай, ведь я тоже, — пойми ты меня! — я тоже люблю её. Ведь вот я уже и не ждал тебя, думал — застрелишься ты, и — не боялся этого, не жалел. А — я ведь люблю и тебя, брат, поверь. Но если наваждение это неодолимо, — что же мне делать?»

— Он снял фуражку, сел и смотрит на меня, потемнев; видно мне, что испугался он, убито мигают глаза его. Я говорю:

— «Ты красив, ты умнее меня, тебе легко любить, ты можешь говорить о женщине убедительно, ты ко всякой дойдёшь. Ты любишь воображением ума, а я — всей плотью, всей душой...»

— Он встал и запер дверь конторы. Подошёл ко мне, суровый, я думал — ударить хочет, но он только взял за плечо меня, встряхнул.

— «Вот как? — говорит. — Понимаю. Но — как же теперь мы будем жить?»

— Прижался я головой к руке его.

— «Не знаю...»

— Но была уже радость в душе у меня; чувствую, что он сильнее, лучше меня, это я всегда знал, но в тот час — особенно ясно стало. Явилась

надежда, что с ним у меня всё обойдётся благополучно.

— «Не знаю, говорю. Ты меня умнее».

— «Зачем ты, спрашивает, оболгал и её и меня?»

— Ну, я не мог объяснить это, я уж сам не понимал — зачем? Он стал ходить по конторе, говоря, что надо ему уехать на время или перевестись в другой университет, но я прошу:

— «Нет, этого ты не делай. При тебе мне всё-таки стыдно, а без тебя я запутаюсь. Она в делах ничего не понимает, а я не могу ни в чём отказать ей».

— Он, усмехаясь, спрашивает:

— «Но как же теперь буду я, ошельмованный тобою?»

— Конечно, я выпросил у него прощение, и решили мы сказать Ларисе Антоновне, что я шутил, а он меня неверно понял и юношеская горячность его неосновательно возмутилась.

— «Ну, хоть так», — согласился Коля и братски пожалел меня:

— «Ах ты... Не думал я, что ты такой хитрый азиат. Хотя — не очень хитрый, не очень».

И, снова подняв руку, точно для присяги, человек сказал внушительно:

— Прекрасный юноша был брат мой. Честнейший юноша, великой души! Уж это я знаю...

За окном дождь всё плёл свою сеть, у фонаря остановилась чёрная, осклизлая фигура, подняла толстую ногу и, сняв галошу, стала колотить ею по столбу. Дрожал в стеклянной паутине огненный паук.

Выпив вино, не охмелявшее его, человек продолжал ломким голосом, приподняв плечи, крепко скрестив руки на груди:

— После этого мы с Колей начали жить так, как будто только что познакомились. Часто по ночам беседовали о разных разностях жизни, и Коля всё больше удивлял меня обилием и печалью необыкновенных мыслей. Глаза у него стали ярче от худобы лица и синих пятен в глазницах, а в лице явилась такая, знаете, серьёзная прозрачность.

— Чаще всего он говорил о том, что жизнь построена по форме пирамиды и хотя основание её широко, но — гнило, непрочное, может раздаться под тяжестью, и тогда всё рухнет, развалится. Говорил он задумчиво, пощипывая усики, и усмехался.

— «Другой формы не могут иметь ни жизнь, ни мысль. Мысль тоже строится пирамидой: основание — огромное количество фактов

беспощадной борьбы, а вершина — ничтожный, остренький вывод».

— Мысли эти я очень любил и принимал их как правильные, но мне было неприятно, что Коля без спора соглашается с нищеанцем этим, с Богомоловым. Однажды обедал с нами Мортон, химик, управляющий фабрикой, замечательного ума француз! Богомолов проповедовал свои пустяки о свободе, а Мортон высмеивал его, утверждая, что суть жизни в разуме.

— Богомолов грубейше крикнул ему:

— «Таким разумом, как ваш, владеют и бобры и муравьи, это не свободный разум, а только обезьянье приспособление».

— И всегда этот попович грубил, раздражала меня его топорная грубость, широкая бородатая рожа, грязные, нечёсанные волосы. У него только голос был умный, а Коля думал, что он говорит мудро.

— О Ларисе Антоновне мы с Колей не говорили, только однажды, беседуя о ней с Павловым, он сказал:

— «Весь её талант — в красоте, а настоящего таланта, для сцены, нет у неё. Я думаю — ошиблась она, не той дорогой идёт. Скучно и холодно жить ей, и вот она ищет, чем согреть душу. У одного профессора дочь, безногая, параличная девочка, играя, греется перед картинкой, на которой

изображён костёр. Вот и Лариса Антоновна греется у воображаемого огня».

— Павлов закричал, заспорил, заметался, а меня очень обрадовали умные слова Коли. Верил я ему. Сам я не мог судить о способностях Ларисы Антоновны, и никакого дела не было мне до её игры. Когда она выходила на сцену, я ничего не видел кроме её, слышал только её ленивенький голос, следил, как двигается, точно по воздуху, её великолепная фигура. Легко она ходила и так, знаете, царственно, оказывая милость земле и людям. Восхищала меня гордая стройность ног её. И груди... небольшие, расставленные далеко одна от другой.

Закрыв глаза, человек скорбно покачал головой.

— О чём я говорил? Да. Обрадовало меня указание Коли, что она идёт не своим путём, подумал я, что ошибочный путь этот, может быть, приведёт её ко мне. И, когда она приехала, я пошёл к ней очень уверенно, но застал её в раздражении: летний сезон был неудачен, и она потерпела убыток тысяч в тридцать. Я тотчас сообразил, как успокоить её, сказал, что с её деньгами я сделал выгоднейшую операцию на жирах и могу предложить ей двадцать семь тысяч с несколькими сотнями, — нарочно не круглую сумму назвал,

чтобы правдивее вышло. Обрадовалась она, иногда человека и деньги радуют.

— «Нет, серьёзно? — спрашивает. — О, вы действительно хороший друг. А как живёт ваш сумасшедший брат?»

— Я сумел убедить её, что Коля ошибся, не понял мою шутку. Нахмурясь, недоверчиво глядя в глаза мне, она спросила, взяв меня за ухо:

— «Шутка? Какая шутка?»

— «Однажды, говорю, я сказал ему, что если б вы согласились...»

— Она втиснула ногти в хрящ уха моего, сердито понукая:

— «Ну?»

— «Выйти за меня замуж», — говорю.

— «Врёте вы, — сказала она, оттолкнув меня. — Тут что-то не так. Не то было сказано. Да, да! Предупреждаю вас, сударь, со мною шутки плохи. Больно я ущипнула вас?»

— «Нет, говорю, что вы...»

— «Жалею. Но — я изо всей силы».

— Подумав немного, она сказала тихо:

— «Оба вы — очень милые люди, но — какие-то старомодные, опоздавшие родиться. Станные люди. Будем друзьями, но без шуток, да? Иначе...» — И погрозила пальцем.

— Удивительно одевалась она, — продолжал человек, вздохнув и пристально глядя на косые

нити дождя за окном; ветер спутал, изорвал их, и теперь они сыпались стеклянными зёрнами в окно и на фонарь.

— И в узком платье, закрытом до горла, и в широком, всё равно — она точно голая. Понимаете? Да. Нагая. Такое гордое тело. Мне даже как-то страшно было смотреть на неё... И — досадно: неужели и другие так же видят её, как я?

— Дома Коля спросил: «Что это у тебя ухо-то?» Я сказал, что, подстригая бороду, ущипнул ножницами. Начался сезон. Город у нас, вы знаете, старинный, купеческий, особенных тонкостей публика не любит, ей нравятся русские пьески, особенно костюмные; а когда по сцене ходят люди в пиджаках и, не умея понять, кто, что или кого любит, скучноватыми словами обыденно говорят про это — в чём тут рассеяние скуки и развлечение? А Лариса Антоновна любила именно такие, новейшие пьесы играть — Гауптмана, Ибсена. Поэтому, когда товарка её Соснина, сварливая баба, играла «Чародейку» или «Марию Стюарт», публика шла в театр охотно, а Ларису Антоновну не любили, и, хотя Павлов писал о ней очень похвально, смотреть её ходили только дамы из-за модных костюмов, да молодёжь, а партер и ложи пустовали. Полных сборов она не делала, и это очень раздражало её.

— «В нашем мире, где не любить — невозможно, а любить — не умеют, театр мог бы научить любви к людям, к женщине, к жизни», — говорила она.

— Жила — широко; если не играет, то уж вечером у неё неизменно гости, ужин, вино, катанье на тройках. И все вокруг неё — как безумные. Павлов, зелёный, кашляя и задыхаясь, кричит:

— «Будем как солнце!» — Бемер, водевильная, цинические песенки поёт, Брагин, конечно, о евреях чушь порет, Маметкулов ржёт конём и тут же кричат — бог, смерть, любовь! Мороз по коже подирает от этой сумятицы. А Лариса Антоновна сидит царицей и нехорошо, чуждо улыбается. Часто вспоминал я слова Коли: действительно, вот — зажжёт человек костёр, смотрит, как в нём сгорают люди в пепел, а самому одиноко и холодно.

— В такие вечера моя любовь к Ларисе Антоновне сапоги-скороходы надевала, а всех этих людей хотелось мне на мыло переварить. Мы, я и Коля, наблюдаем друг за другом, как два вора, намеренные украсть одну и ту же вещь, но каждый в свою пользу. Я думаю, что Лариса Антоновна понимала нас; как-то, выпив с горя, она задорно спросила:

— «А что, милые братья, не боитесь вы, что я съем вас?»

— Да. Так и спросила. Я — промолчал, а Коля ответил умной шуткой:

— «Пусть лучше съест львица, но не исцарапает кухонная кошка».

— Иногда мы с Колей, впадая в тоску, откровенно спрашивали друг друга:

— «Что, брат?»

— И — смеялись. Даже — смеялись. Коля, как-то, сказал:

— «Она солнечный зайчик».

— Вскоре мы перестали смеяться.

— Явился в городе англичанин Вильям Проктор, пеньковое дело интересовало его; по-русски он говорил плохо, и Маметкулов познакомил его с Ларисой Антоновной, она знала и английский и французский языки. И вот, знаете, сел этот Проктор монументом около неё и сидит, ворочая серыми глазищами. Высокий, точно литой весь, лицо загорелое, лоб разрублен, и что-то непреклонное в нём. Курит ужасно, водку пьёт, как телёнок молоко, и не пьянеет, только глаза щурит. Вид у него в это время такой, как будто удивляют его люди, но он им не верит и удивления не хочет показать. Только однажды, когда очень талантливая актриса, Соня Званцева, спела ему детскую песню, он прищёлкнул языком, точно выстрелил, и сказал ей:

— «Спасибо. Это больше всего, что я знаю».

— Поцеловал ей руку и спешно ушёл, ни с кем не простясь. С этого случая Лариса Антоновна сразу стала как-то тише, явилась у неё эдакая нега кошачья в движениях... ну, одним словом, вы понимаете...

— А Коля мой ещё более потемнел, вытянулся.

— «Вот, говорит, настоящий охотник на нашего зверя, этот — не промахнётся».

— Учиться Коля бросил, лежит в кровати до полудня, потом ходит целый день по комнатам в туфлях, не одетый и назойливо свистит. А я, узнав, что англичанин — картёжник, познакомил его в клубе с одним товарищем прокурора, о нём говорили, что он играет нечисто, но ловко. Я надеялся, что он выпотрошит англичанина. Он и выпотрошил. Но проигрыш частью пришлось мне заплатить. Позвала меня Лариса Антоновна и говорит:

— «Дайте мне пятьдесят тысяч под вексель».

— «Пожалуйста». — Дела её я знал лучше, чем сама она, и, разумеется, понял, зачем ей деньги. Не дать — не мог. Если б она приказала: «Приготовьте постель, у меня Проктор ночует!» — так я бы, вероятно, приготовил и постель. Может быть, зарезался бы потом. А вернее, нет. Не зарезался бы и тут. Ведь живу же. А бывало и хуже Проктора. Он скоро уехал, а Лариса Антоновна

осталась в сердитой печали и ещё более резко начала кутить. Коля тоже пристрастился к вину. Очень тяжело вспоминать всё, очень, господи! Я предлагал ему: съезди за границу, в Петербург, в Сибирь. А он говорит: едем вместе.

— «Голубчик, ты же видишь, — у меня нет шансов».

— Он хмуро отвечает:

— «Погода — женского рода. Вот почему и капризна погода. А ты — хитрый, ты терпеливый, ты можешь дожидаться хорошей погоды и даже — создать её».

— Он начал говорить злобно, насмешливо и смотрел на меня нехорошо. Сидит, качает ногою и, насвистывая, так смотрит, что мне становится тесно в одной комнате с ним.

— Весь пост Лариса Антоновна прожила в городе, на пасхе снова начались спектакли, а в среду на фоминой, ночью, Коля застрелился в Театральном садике, вот тут, за углом. Что-то вышло у него с Ларисой Антоновной, неизвестно что, но — вышло. Накануне смерти он был у неё, они вместе ходили на кладбище на могилу Павлова. Да. Застрелился Коля в сердце. Привезли его домой, завыл я волком, и всё для меня провалилось в чёрный мрак, как будто вихрем бросило в колодезь, в яму и там вертит, кружит, бьёт. Помню: зубы Коли насмешливо оскалены, а под его левым

соском на груди — пятнышко, точно паучок. Ни крови, ничего, а только тёмный паучок. Потом такая, знаете, ненависть вспыхнула к Ларисе Антоновне, что, явись она в этот час, не знаю, что сделал бы я, но — было бы ей плохо. Приехала она с Брагиным к ночи, уже темно было, и вот так же дождь шумел, я её встретил в зале, закричал на неё, затопал, но она молча и так, знаете, властно отстранила меня рукою, спрашивает грубо:

— «Где?»

— Накидка, вроде театрального плаща, вся обрызгана дождём, опустилась с плеча и ползёт по полу. Лицо Ларисы Антоновны белое, до синевы, глаза нестерпимо горят, и весь вид такой, как будто из страшной сказки она пришла. Встала на колени пред диваном, где лежал брат, гладит лицо его одной рукой, а другой крестится, громко говорит:

— «Ну, прости, мальчик, прости! Ведь я говорила тебе... боже мой. Прости...»

— Я тоже стою на коленях рядом с нею, шепчу:

— «Это вы сделали. Ваше дело...» — Говорю, а злобы на неё нет у меня, только страшно очень и такая, знаете, пустота во мне, ясность, всё вижу, всё замечаю, каждое изменение её лица, каждое движение пальцев.

— «Молчите, говорит она, молчите!»

— И тоже погладила лицо моё ладонью, как будто и я мёртвый. Страшно горячая рука была у неё и дрожала, и я весь дрожал. Встала она, подошла к окну.

— «Дайте, говорит, крепкого вина». Пригласил я её к себе; этот подлый скелет Брагин тоже пошёл с нами, очки протирает, как будто ничего не случилось. Велел я подать вина, чаю, и вот, сударь мой, с этой ночи началась жизнь, недоступная никакому воображению. Выпила она фужер портвейна, потом — чаю с коньяком, и сразу вспыхнула вся, глаза ещё более дико разгорелись, — глаза у неё, как это видно и на портретах, — были насмешливые, всем чужие. Заговорила она угнетающе и грубо, никак я не мог подумать, что женщина образованная и красивая решится говорить так обнажённо и сокрушительно.

— «Вот, говорит, убил себя милый, умный мальчик, потому что я не уступила его желанию. Но — что же мне делать? Неужели я должна покорно отдаваться в руки всех, кто меня хочет? Брагину, который третий год ожидает своего часа, вам — вы ведь, конечно, тоже надеетесь видеть меня на своей постели? Но послушайте, неужели за то, что бог наградил меня красотой, я должна платить каждому, кто её хочет, если даже он противен мне?»

— Я, знаете, даже покачнулся от стыда и страха, услышав её слова. Страшно было то, что понял я — была правда в её словах, обнаружили они предо мною жизнь её с другой, очень трудной стороны. А Брагин, тоже выпивши, скорчив свою костлявую рожу, говорит:

— «Ларисочка, я не люблю драм, не верю в драмы. Всё очень просто. Богатый студент застрелился? Ничего. Со святыми упокой, а для вас — рекламочка».

— Я схватил его за шиворот, хотел ударить, но Лариса Антоновна отвела мою руку, точно я бессильный ребёнок.

— «Оставьте его, говорит, он негодяй. Очень талантлив, но — негодяй. Может быть, потому и талантлив. Хорошие люди редко бывают талантливы».

— Брагин, подлец, согласился с нею:

— «Это — верно. Я притворяюсь хорошим только на сцене, и это мне всегда самому смешно, оттого и публика смеётся. Публике приятно видеть, что хорошее — смешно и жалко...»

— А Лариса Антоновна говорит свои отчаянные слова:

— «У меня есть цель, я хочу изгнать со сцены пошлость, вымести старый мусор, показать душу современной женщины, которая во многом переросла сама себя и не знает, что ей делать с

собою? Ей мало любви, мало материнства, у неё есть ещё что-то. Что? Я не знаю, но — что-то есть».

— Тысячу раз слышал я потом эти речи, тысячу раз!

— «Мне трудно, говорит. Мне очень трудно! На сцене я всё ещё чужой человек. На пути моём становятся люди, мешают жить, работать, хватают за ноги, и вот — ложатся трупами... Ваш Коля — умный, милый, но не надо, не надо же мне никого».

— Говорит она и всё пьёт вино, как пожар заливая. Пил Брагин, я тоже. Я допился до слёз, жалко было мне Ларису Антоновну, себя, Колю. Её — особенно. Встал на колени пред нею и говорю, что могу всю жизнь служить ей, всю жизнь, как собака. А она, погладив волосы мои, согласилась:

— «Да, говорит, Петруша, у вас верная, честная, собачья душа, я знаю».

— О, боже мой, боже мой...

Что-то зашуршало в углу около печи. Человек вздохнул, покачнулся и, подняв оплывшую свечу, осветил угол.

— Там — крыса. Она в этот час всегда начинает... скребётся.

Потом он долго неподвижным взглядом смотрел в окно, там дождь неустанно чертил сеть косых линий, оплетая ими огонь фонаря. Чёрные полушария плыли в тусклом пузыре света — шли под зонтами люди из театра.

Кто-то под самым окном крикнул:

— Нет. Не могу.

— В ту ночь я полюбил Ларису Антоновну настоящей, безответной любовью. Летом она сняла дачу на Оке, под Рязанью, я часто ездил туда к ней и видел: живёт она, как всегда, шумно, суетно, охотятся на неё разные новые люди. Спрашиваю:

— «Мешают они вам?»

— «Да, говорит, мне все мешают, а помогает жить только один человек — вы, Петруша».

— Конечно, — мне праздник такие её слова, а она была щедра на них и этим ещё крепче привязывала меня к себе. Она и вообще была щедра. Непонятно это: она — не добрая была, а на ласку словом не скупилась, деньги тоже швыряла, как шелуху, и очень нужно было следить, чтобы не ограбили её разные ловкачи, промышляющие корм жалобами на несчастья свои. Деньги — она давала людям с такой улыбкой, что, будь я нищим, и то бы десяти копеек не попросил у неё. Презирала она людей, неудачливых же — особенно брезгливо. Бывало, слушает чьи-нибудь сетования на жизнь и вдруг улыбнётся глазами, прищурится и скажет:

— «Ах, как мы несчастны!»

— Слова эти, как сугроб снега, падали на меня, и, боясь её презрения, я молчал пред нею о несчастьи моём, почерпая все радости жизни в заботах и тревогах о ней. Встречала она меня всегда

приветливо, как родного, и, представляя знакомым, говорила внушительно:

— «Прошу любить, это бескорыстный друг мой».

— Люди же, разумеется, считали, что она живёт со мною. Да. «Прошу любить». Меня и полюбила комическая актриса Соня Званцева, дама милостивая, талантливая, добрая и неистощимой весёлости; она жила вместе с Ларисой Антоновной. Сидел я с нею в саду, над Окой, любуясь закатом солнца, жаркий такой вечер был, пахучий, липа цвела. Закурив папироску, Соня спрашивает:

— «Что, Петруша, бедный рыцарь, трудно вам?»

— «Нет, говорю, ничего». — Боялся правду сказать, зная, что, если заговорю, — буду жаловаться на Ларису Антоновну.

— «Полноте, милый, говорит, разве я не вижу? Третий год наблюдаю. И — позвольте сказать прямо:

Понапрасну, мальчик, ходишь,
Понапрасну ножки бьёшь,
Ничего ты не получишь,
Понапрасну пропадёшь!

— А, вот, я, говорит, люблю вас, хоть и непристойно женщине первой говорить это.

Люблю. Очень. Потому что — вижу, как вы умеете любить, и жаль мне вас хорошей, бабьей, материнской жалостью».

— Смутился я, встал, и — хоть в реку прыгнуть! А река, знаете, течёт, течёт, мутная, как моя жизнь. На глазах Сони — слёзы, а говорит она, смеясь.

— «Так я вас люблю, что даже больно. Как девчонка. Вот как...»

— Я, очень глупо, сказал:

— «Благодарю вас, только...»

— «Цыц! — говорит она тихонько и руку протянула, точно отталкивая меня. — Уходите. Но в случае чего помните, что есть на земле человек, который любит вас попросту, всей душой, без фигур. А у Ларисы душу умишко съел...»

— Всё бы это было хорошо, хотя и печально, не скажи она последних слов о душе Ларисы Антоновны. Обидно стало мне. Я душу её, может быть, и не понимал, но любил и чувствовал. А тут человек из соперничества, из ревности уничтожает дорогую эту душу. Поклонился я ей суховато, и осталась Званцева на скамье, покуривая, а я ушёл в лес. И такая схватила там за сердце меня лютая тоска, что, поверите ли, впервые за всю мою жизнь заплакал я. Трясусь весь и плачу, понимая, что, может быть, единственно возможное для меня счастье сам оттолкнул. И за Ларису Антоновну

обидно. В таком был состоянии, что, не заметив, на муравьиную кучу сел, и закусали меня муравьи. Кусают, а я не понимаю, что это такое, сижу. Потом должен был идти купаться и вытряхивать платье, белье. Всю ночь прогулял на берегу, а в душе, знаете, эдакое чёрное пожарище и разрушение всех сил. Утром, после завтрака, Лариса Антоновна позвала меня к себе, говорит резко:

— «Софья из-за вас сыграла мне драматическую сцену и очень плохо, это не её амплуа. Что вы отказались от её предложения — это довольно глупо, но — ваше дело. Если же вы, сударь, жаловались ей на меня, так это трижды глупо, но — уже моё дело. Жаловались?»

— «И не думал», говорю.

— Посмотрела она на меня, улыбнулась этой улыбкой, пронзающей душу.

— «Кажется, говорит, правда. Вот что, сударь, вы от меня не ждите ничего, у вас со мной никогда не будет никаких романов, так и запишите на память себе. Наконец, я вообще довольна тем, что вы отказались от Софьи. И за себя и за неё. Ей с вами скоро стало бы скучно, а мне без вас — неудобно. Видите, каков я зверь?»

— В тот день была она в белом кружевном платье, и сквозь кружево сияет тело её, — смотреть больно. Всё на ней белое, чулки, туфельки, каштановые волосы коронуют голову её, и

сердито-насмешливо улыбаются глаза. Лежит на кушетке, туфля с ноги упала, пятка круглая, точно яблоко. В комнате — солнце, цветы, — невыразимо великолепно была она в цветах и солнце. Страшная сила красота женщины, сударь мой...

— Вспомнил я Колины слова: «Солнечный зайчик...»

— Помолчав, она говорит задумчиво:

— «Вы, Петруша, не знаете, как талантлива Софья. Ей развернуться негде, для неё нет пьес. Если б мне половину её таланта! А она вот хочет быть женою мыловара. Послушайте, бросьте вы это ваше мыло, зачем вам оно?»

— «Хорошо», говорю.

— Фабрика действительно не нужна была мне, я уже знал, что останусь на всю жизнь одинок. Возвратясь домой, я предложил управляющему, Мортону, найти покупателя, но он изумился, рассердился и сказал, что не продаст никому, а сам купит. Так и сделал, я ему продал всё очень выгодно для него, он был достойный человек. А я поехал в Рязань, где играла Лариса Антоновна, поселился там в гостинице. И вот началась моя новая жизнь, двенадцать лет жил я этой трёпаной жизнью, двенадцать лет-с! Трудно было привыкнуть к бродяжеству, безделью, к цыганству, к разным грязненьким гостиницам, меблированным комнатам, к жизни среди людей всегда новых,

всегда чужих. Был я как бы зерно, которое судьба, на мельнице своей, мелет с песком. Неисчислимо на Руси количество людей, которые живут неизвестно зачем, — кажется, я уже говорил, что всего больше таких людей около театра, около обмана. Потому что театр — насквозь обман. А Лариса Антоновна играла правдиво, обнажённо, без прикрас, и даже когда она говорила самые густо театральные слова; публика не верила ей, другие же актрисы, нарядной фальшью этих слов, вызывали у публики искренний восторг и слёзы сочувствия. Я и сам скажу: Лариса Антоновна неинтересно играла, хотя я не люблю и не понимаю никакой игры, кроме музыки. Трудно было понять: хорошего или плохого человека изображает Лариса Антоновна? Публика же требует ясности, думать она не любит, предпочитая говорить. Это и законно: каждый человек стремится к упрощению жизни, каждому из нас курица гораздо понятнее, чем ласточка. А простота Ларисы Антоновны была загадочна, и потому хотя красотой её очень восхищались, но успеха она не имела. Конечно, она видела это, и это мучило её; вижу я — начинает она всё больше презирать людей. Бывало, выпьет и, пристукивая кулачком по столу, сверкая глазами, убеждает сама себя:

— «Врёте, скоты, я заставлю понять меня, заставлю. Театр — не забава...»

— Безмерно жалел я её; она сердится, а я мысленно уговариваю:

«Бросьте всё это, не мечите перед свиньями бисера души вашей».

— И молюсь: господи, столкни её с этого пути! А она — своё:

— «Заставлю любить меня».

— В обыденном, грязненьком смысле слова её, разумеется, любили каждый сезон, в каждом городе. Смешно и горько было мне видеть натужное волнение гимназистов, студентов, взрослых опытных охотников за любовью, противно наблюдать, как старые, брыластые псы, с одышкой и вставными челюстями, вертели и выли, истекая слюною вожделения. И — кутежи! Кутить она привыкала всё чаще, пила всё больше, но вино на неё почти не действовало, крепка была. Только зарумянится да зрачки станут шире, а глаза прищурит ещё насмешливее и режет взглядом, как ножом. Язык у неё тоже беспощаден был, а иногда она говорила так грубо, точно пощёчины сыпала. Очень назойливо и нахально ухаживал за нею прокурор в Херсоне, слащавый такой, лощёный, с лисьей мордой и холодными руками покойника; любил он говорить по-французски и всегда читал одни и те же стишки:

Я — и нож и — вместе — рана,

Оскорблённая щека
И разящая рука.
Кроткой жертве, мне — тирана
Сердце злобное дано...

— Как-то, за ужином, он поцеловал ей руку, а Лариса Антоновна, брезгливо вытирая поцелуй его платком, громко и убийственно спросила:

— «У вас — насморк?»

— Он позеленел и так замигал глазами, точно его ослепило.

— Говорила она и хуже этого, резкие и даже неприличные слова не стесняли её, всегда приобретая в устах её особенную остроту. К поклонникам она относилась задорно, капризно и очень любила стравливать их одного с другим. В Минске за нею ухаживали вице-губернатор и фабрикант, так она их так стравила, что разыгрался скандал на весь город и даже в столичных газетах писали о нём. Там она увлеклась виолончелистом из оркестра, мальчишкой-евреем, но вскоре велела мне дать ему стипендию и отправила в Вену учиться. Да, забыл я: комик этот, Брагин, удавился на крюке от лампы, прислав Ларисе Антоновне и мне гнусные письма. Жил негодяем и умереть прилично не решился... Христа играть хотел, хе-хе! Это вот тоже, знаете, весьма часто замечал я: чем подлее человек, тем упрямее стремится играть

благородную роль. Некоторым это даже удаётся... Хотите ещё вина?

Он встал и согнулся в углу, у печи, говоря:

— Вино у меня хорошее, любимое её вино, Сент-Эстеп. В своё время я его выписывал прямо из Франции.

Осторожно открыв две бутылки, он поставил одну предо мною, из другой налил себе полный стакан и, закрыв глаза, двигая кадыком, медленно высосал его. Вытер платком рот и продолжал, плавно, мягко, тихими словами, как будто акафист читая:

— Увлекалась она часто, но, знаете, как-то вдруг и наскоро, словно обязательную повинность природе отбывая. В Тамбове из-за неё тюремный инспектор подрался с офицером, была дуэль, инспектора ранили, а она отказалась принимать обоих и, не доиграв сезона, уехала с помещиком одним в имение к нему. Он раскопками курганов занимался, чудак такой, неуклюжий, беспомощный и весь в улыбках. Её вообще интересовали чудачки. У помещика она прожила двадцать шесть дней, я всегда точно считал дни её романов, не знаю для чего, может быть, думал, что когда-нибудь придётся мне напомнить ей всё это. Ведь — человек я и в эти дни утешал себя надеждой, что отомщу ей.

— Бывало, вижу: смотрит Лариса Антоновна на кого-нибудь особенным, обнимающим взглядом, и уже знаю: начинается. Никогда не ошибался. И перестаю ходить к ней. По ночам скрипел зубами и думал: не отравить ли мне её? Смеялись надо мной во всех городах. А как только освободится она, снова торчу около неё, во всём покорный. Конечно — хмурю, а она мне пальчиком грозит:

— «Петруша — не дурите».

— Однажды, не стерпев, выпивши, спросил её:

— «Неужели не стыдно вам превращать человека в собаку?»

— Она посмотрела на меня пристально и, вздохнув, отвечает:

— «Едва ли вы человек».

— Очень удивил меня этот вздох и как бы даже успокоил, стал я терпеливее. Увлёклась она писателем одним, пьесы писал, человек заносчивый и грубый. Он во время ужина, должно быть, ущипнул её под столом, вскочила она и говорит:

— «Петруша, этому господину пора домой, к жене, проводите его».

— Н-ну, я его провожал, знаете, не очень вежливо. Хвастунишка был он. Писателей я видел несколько человек, и во всех — как в актёрах — было что-то бабье, фальшивое, наигранное. Все они какие-то канатоходцы, шагают осторожно,

балансируя желанием всякому угодить, понравиться.

— Так, цыганской этой жизнью, в шуме скандальном, в пустяках и выдумках, прожил я около Ларисы Антоновны пять лет, а на шестой год, в Томске, началась для меня иная жизнь, хуже или лучше — не могу сказать. Народ в Сибири грубый, звероватый, но Лариса Антоновна хорошо играла там Нору и очень понравилась молодёжи. Обложили её сибиряки, сидят вокруг медведями, чавкают и её жуют глазами. Меха дарят, катают на лошадях и вообще такой дым развели, что даже я, человек сдержанный, как-то замотался и ослеп. Лариса Антоновна в превосходном настроении, сияет, даже ещё более красивой стала.

— Вдруг я узнаю, что двое богачей пари держат: который из них одолеет её до Нового года? Пригласил я их обедать в ресторан, в отдельный кабинет, а со мной был револьвер браунинг, — Сибирь, знаете, и почти каждую ночь я возвращался домой поздно, — так вот, говорю я охотникам этим:

— «Вы это пари ваше — бросьте и вообще Ларису Антоновну не смейте беспокоить. У меня нет причин жалеть себя, и, если замечу я, что не убедил вас, — башки размозжу». Они сначала хотели навалиться на меня, но я отпугнул их, показав револьвер, тогда они поняли, что я серьёзно настроен.

— «Ну, говорят, ладно». Попытались напоить меня — не вышло, только сами напилась. Один был худощавый, бородатый, на икону святого юродивого похож, а глаза — разбойника, другой — толстый, красный и отчаянный пакостник в речах. Спьяну бородатый всё перстень с рубином совал мне, уговаривал взять в подарок. Вероятно, всё это обошлось бы хорошо, но, на своё несчастье, Лариса Антоновна узнала о пари. Видал я её в гневе, но в таком — никогда! Стояла она спиною ко мне, глядя в окно на вьюгу, и медленно так, тяжело обернулась ко мне, — совершенно незнакомое лицо, ослепительно злое. Приказывает:

— «Позовите этих скотов ужинать ко мне».

— И вот — ужин; сидим за столом, четверо, Лариса Антоновна отлично одета, любезна, шутит и вдруг, среди шуток, говорит:

— «Между прочим, я пригласила вас сегодня затем, чтоб сказать вам: вы оба мерзавцы».

Они — хохочут, думая, видимо, что это всё ещё шутка, а Лариса Антоновна и начала отчитывать их, да так, что они раскалились докрасна и хоть избить её готовы. Ну, тут я их выгнал. Стоит она среди комнаты, крепко трёт лицо руками, смотрит на меня как на незнакомого:

— «Идите и вы, говорит. Уходите».

— Боязно было оставить её одну, но послушаться я не посмел, ушёл. А через неделю, что

ли, когда она снова играла, в театре, на верхах, начали свистеть. Там — свищут, снизу шикают на них, шум, брань, дамы визжат. Кое-как доиграла она акт, бегу к ней в уборную, она спокойно сидит перед зеркалом, пудрится, спрашивает:

— «Это, конечно, они устроили?»

— «Не знаю, но — наверное», говорю. Тут к ней ворвалась публика, сожаления, извинения, руки целуют, она милостиво улыбается, а глаза её горят растерянно и дико. На следующем спектакле снова свист, шум, в антракте кто-то подрался, вмешалась полиция, а на другой день приезжал к ней полицеймейстер, пьяница и грубиян, не знаю, что он сказал ей, но в тот же вечер она объявила мне, что едет в Пермь, там держал театр её же антрепренёр. И вот, когда сидел я в купе у неё, говорит она:

— «Что, Петруша, жалко вам меня? Это очень плохо, если дошло до того, что вы меня жалеть начали».

— И с эдаким страхом, тихо спрашивает:

— «Неужели нет у меня таланта, неудачница я, не могу победить людей? Скажите правду».

— Правду я знал, но — сказать не решился, она бы меня за эту правду... Утешаю как могу, а она всё говорит, спрашивает:

— «В чём моё несчастье?»

— Колёса гремят, за окном всё двигается, качается, смотрит она в окно, шепчет:

— «Падаю, падаю...»

— Никогда она не говорила так жалобно. Конечно, у неё были причины жаловаться: играла она уже более десяти лет, а имя её было негромко, в столицы её не приглашали, мотались мы с нею по захолустьям, да и деньги свои она уже прожила. Только красота и свежесть оставались с нею, как будто навек приросли...

Рассказчик замолчал, точно задохнулся, разжал руки, странно размахнул ими и вцепился пальцами в ручки кресла, наклоняясь вперёд, глядя в мутное, сырое пятно света за окном, в пузырь опаловый, пронизанный стальными нитями дождя. Минуты две он слушал, расширив глаза, тихий плеск и шорох, настойчивое журчание воды, стекающей по жёлобу. Серое, сухое лицо его обострилось ещё более, когда он заговорил снова:

— Приехали мы в Пермь. Над городом, во тьме, снежная буря, вой, свист, стон, эдакое адово веселье, и двигаешься как будто не по земле, а — сорвало тебя с земли и несёт куда-то в белых тучах. Дня три гудела эта тоска, и вот, как-то вечером, приглашает меня Лариса Антоновна чай пить к ней; пришёл я; сидит она сиротливо у стола, в капоте бордового цвета с золотом, волосы распущены, и

точно девушка, знаете. А ей было уже почти сорок. Сидит ласковая, тихая. Похудела она за эти дни.

— «Милый вы мой друг, говорит, бедный вы мой друг, плохо было бы мне без вас, нянька моя. И вот за то, что вы так бескорыстно любите меня, — я вам испортила всю жизнь, да? Испортила?»

— Я — не вытерпел, никогда ещё она не говорила со мною так, упал на колени, целую ноги её, бормочу:

— «Испортили, да...»

— Гладит она голову мне, шепчет:

— «Непоправимо?»

— Горячо капают на шею мне слёзы её. И тут, знаете, впервые овладел я ею, в углубление несчастья моего. Опомнился, — вижу: сидит она полуобнажённая на постели, укладывая груди в лиф, лицо у неё спокойное, слышу задумчивый голос:

— «Ну, вот мы и поженились. Хорошо со мною? Теперь давайте чай пить. И — шампанского спросим...»

— Просто, знаете, смертным холодом обожгло меня, бросился на пол, к её ногам, рычу, реву:

— «Не любите вы меня, не нравлюсь я вам...»

— А она вскочила, бежит по комнате, бьёт себя кулаком в грудь и шепчет, задыхаясь:

— «Милый, голубчик, но — если нет... если нет у меня — не могу. Поймите — нет».

— Господи боже, да это — я понял, это и опрокинуло меня. Сажу на полу, качаюсь, а она, в слезах, мечется по комнате, вокруг меня, сверкает обнажённое тело её, холодное для меня...

— Кричит:

— «Распылила я сердце своё на потеху идиотов!»

— Я умоляю её: «Бросьте сцену, едемте за границу, денег у меня много, пожалейте себя ради Христа».

— «Нет, не могу, говорит, не могу! Не верю, что нет таланта у меня. Но вы должны уйти, довольно вам горя, довольно мук. Уйдите, ещё не поздно. Из жалости — не любят, это оскорбительно, когда из жалости. Вы — добрый, чудесный друг, но со мною вы погибнете, изломаю я вас...»

— Долго и — очень благородно, очень сердечно говорила она, но, разумеется, всё глупо, невозможно. Посадил её на диван, сам сел на пол к ногам её, говорю:

— «Никуда не уйду я от вас, не могу. Живите, как хотите, а я буду около вас».

— Она снова начала было целовать меня, но я сказал: «Не надо, не насилюйте себя». Как она плакала, боже мой...

Он и сам заплакал; по жёлтым щекам в бороду скупно катились мелкие слёзы, он тряс головою, не отирая мокрые щёки, и говорил надсадно:

— После того шёл я за нею неотступно ещё семь лет. Как будто сам дьявол невидимо встал между нами, держит нас за руки, но не пускает её ко мне, издеваясь надо мною. Невозможно, постыдно рассказать, что вытерпел я! И она тоже, и она не меньше. В театре у неё становилось всё более неблагополучно. С товарищами по сцене Лариса Антоновна никогда не дружила, и они постоянно затевали против её различные интриги, а теперь всё это усилилось, завихрилось круче, должно быть, потому, что она стала мягче с ними, теряя свою величавость и пренебрежение к ним. В жизни действует такой закон: чем дальше от вас люди, тем они лучше, а чем ближе — тем хуже. Брагин говорил: «Не сажай женщину на колени себе — на шею сядет». То же можно сказать вообще, о всех людях. Актёришки, конечно, влюблялись в Ларису Антоновну, актрисы ревновали и ненавидели её. Известно, что нет ничего легче лжи и клеветы. Раньше Лариса Антоновна умела не допускать людей близко к себе, жила, никому не завидуя, ничем не хвастаясь, — ни умом своим, ни тонким образованием, а тут я стал замечать, что она, теряя уверенность в себе, начинает понемногу и

хвастаться и прихвастывать, — рассказывает, например, об успехе своём в таком-то городе, а я знаю — успеха у неё там не было. Конечно, и актёры знают это, и хотя сами они все — хвастуны, но над нею посмеиваются. Показывает она им мои подарки и говорит, что это ей публика поднесла. Выдумала, что её будто бы очень приглашал в Москву, в свой театр, сам Станиславский, а этого никогда не было. Не было-с...

— И ум свой начала она парадно выставлять пред людьми и образованием кичиться. А тут ещё толкнул её доктор один, странный человек, но тоже, видимо, не своей тропею шёл. Маленький такой, аккуратнo выточенный, чистенький весь, даже как-то непохож на русского. Носил какой-то пиджачок странного покроя и, несмотря на свои седые виски, был похож на юношу; Коля, в его лета, вероятно, таким был бы. Острижен доктор ёжиком, смотрит через очки, тёмные, тихие глаза виновато улыбаются. Однажды Ларисе Антоновне нездоровилось, он пришёл и бросил якорь около неё, каждый день сидит. Не мог я понять: злой он или добрый, но — источен печалью, и потому так остро горьки его речи? Всегда речи его были неприятны, но говорил он их как будто поневоле, не от себя, и они не обижали. Рассказывает ему Лариса Антоновна о нездоровье своём, а он:

— «Это приближается к вам печальное безобразие, которое мы смущённо именуем красотой старости...»

— «Все мы, говорит, герои, ибо умеем забывать о том, что осуждены на смерть. И жизнь наша — унылая трагедия, полная милой весёлости».

— А о любви он выразился очень обидно для Ларисы Антоновны, сказав:

— «Любовь к женщине подобна печальному деянию бога, который тоже безуспешно пытался создать прекрасный мир из пустоты, из ничего».

— Казалось бы, Ларисе Антоновне надо обидеться, — какая же она пустота, какое ничего? Но она ничуть не обиделась, к великому удивлению моему. Разговаривали они целыми вечерами, и вскоре я вижу, что сошла Лариса Антоновна с доктором. Разумеется, это было больно мне, я ведь всё-таки не терял надежду заслужить её любовь упрямством моим, но доктор не стал неприятен мне, я даже ещё больше подружился с ним. Уж очень прямодушен был он; однажды говорит мне:

— «Я знаю, что пью ваше вино и целую вашу женщину».

— «Нет, отвечаю, женщина принадлежит не мне, а несчастью своему».

— Он пристально посмотрел на меня и говорит стихами, — он любил стихами говорить:

— «Вы знаете:

Судьба сильнее угнетает нас,
Почувствовав, что мы ей поддаёмся?»?

— «Вижу, что Ларисе Антоновне хорошо с вами, ну и слава богу».

— «Своеобразный вы человек», — сказал он.

— «И вы тоже», — отвечаю.

— Поглядели мы с ним друг на друга, улыбнулись. Выпили. Пил он очень много. Ларисе Антоновне действительно хорошо было с ним, стала она меньше кутить, больше сидела дома, стала спокойнее душою.

— Вот её беседы с доктором были поистине значительны и серьёзны, хотя оба они углублялись в те же обыкновенные мысли: о боге, о смерти и любви. И — так, знаете, углублялись, что мне даже страшно бывало, — как будто уже и не люди говорят, а... не знаю, чему уподобить. Как будто — нет людей, но просто два голоса, начисто оторванные от всего живого, состязуются в пустоте ночной тишины. Согласия между ними не было, но говорили они миролюбиво и внимательно прислушивались друг ко другу. Доктор утверждал, что жизнь человека подобна полёту пули, направленной в неизвестную цель, — траектория, говорил он, — и что никакого высокого смысла в жизни не заключается. Эти отверженные слова

несколько напоминали мне Колю. А Лариса Антоновна с великой настойчивостью доказывала, что в жизни скрыт высочайший смысл, но чувствовать его может только женщина, возбудитель всяческих желаний, страстей, в том числе и порочных. Некоторые мысли её я принимал как совершенную правду из любви моей к неукротимой гордости души Ларисы Антоновны. Помню, например, она говорила:

— «Женщине доступно нечто, навсегда недоступное мужчинам: женщина чувствует зарождение новой жизни во плоти её, она является постоянным источником обновления сил мира. Она видит также, что ею зажигаются лучшие мысли, её ради совершают подвиги, от неё вся красота и поэзия, и если б не было женщины, вы думали бы только о пище, живя, как звери. На земле нет ничего твёрже и понятнее женщины, и вам не на что опереться, кроме её».

— Однажды она сказала:

— «Матери умирают всегда спокойнее отцов, потому что матерям доступно сознание непрерывности жизни».

— Доктор усмехнулся, говорит:

— «Животные умирают ещё спокойнее женщин».

— На этом они поссорились. Иногда — как будто вихрем — взрывалось что-то в душе Ларисы

Антоновны, и мы с доктором отлетали от неё, как две пылинки. И всегда это выходило как-то вдруг, без причины, из-за слов. Помню, сидели мы втроём, Лариса Антоновна молчала, а я рассказывал о моей поездке в Москву, вдруг доктор тихонько говорит:

— «Преступники и женщины слышат, когда о них думаешь...»

— Как она рассердилась! Точно ожгли её эти слова. И — кутёж дня на три, а потом лежит в постели, сердце болит у неё.

— Доктор чахоткой страдал и скоро уехал в Швейцарию. Ну, тут уже началось совершенное безумие, — Лариса Антоновна как с горы побежала, молодость свою догоняя. Это, заметил я, со многими женщинами бывает: стукнет их по сердцу сорок ударов годовых, настанет бабий век, и закружится, бедняга, забыв о стыде, как будто в один год хочет съесть всё, что в жизни не доела. Так и Лариса Антоновна: завертелись около неё какие-то мальчишки, актёрики, которых она раньше презирала, косоглазые студенты, воспалены все, потеют, визжат друг на друга. С месяц у неё даже двое любовников было: куплетист и студент-стихотворец, себя называл гениальным поэтом, а Пушкина недорослем. Куплетист, конечно, хвастаться начал своей победой, ну, я ему дал по бритой морде, прибавил к пощёчине пять тысяч и сказал: «Уезжай, болван, в Калугу!»

Нарочно городишко выбрал похуже, поскучнее. Уехал он...

— Это были самые тяжёлые годы жизни моей. Бывало, уйду от неё и всю ночь, до рассвета, хожу по улицам, сторожем сокровища моего, а оно украдено у меня, оно в чужих руках. Шагаешь в тишине, несёшь сердце своё, полное горькой обиды и тоски, думаешь: какой смысл жить без счастья, без ответной любви? Смотришь в окна домов; вот в каждом доме кто-нибудь любит, а ты — голоден и жалок в одиночестве твоём. Сколько таких ночей прожито мною! Тяжело в лунные ночи одинокому человеку таскать по земле тень свою.

— А Лариса Антоновна уже, знаете, начала фарсы играть, ходит по сцене в полуголом виде, ножки, груди показывает. Я — с ума схожу, умоляю её:

— «Едемте за границу!»

— Нет, не едет. Написал доктору в Швейцарию: не можете ли помочь, повлиять? Он ответил мне невразумительно и даже как будто насмешливо, не понял я его письма, только приписка в конце памятна мне осталась ничёмностью своей, приписка такая:

«Лев Толстой говорит: «Понятие вечности есть болезнь ума». А я говорю: любовь — болезнь воображения. Наиболее нормально относятся к любви кролики и морские свинки».

— Глупо как-то вышло это у него.

— Вот тоже заметил я у образованных людей неприятную привычку: много у них накоплено разных мыслей, и потому ли, что они любят хвастаться ими, точно купцы деньгами, или потому, что тяжело им носить эти мысли в себе, но — распускают они их не глядя куда, как — извините — мужики вошь свою. А между тем с мыслями надо бы осторожно обращаться, никто ведь не знает, какие — верные, какие — нет. Иногда мысль человеку — как собаке игла, закатанная в хлеб: проглотит собака этот катышок и — мается, нередко издыхает. Даже вот я, человек недоверчивый, иногда чувствую, что окормлен чужими мыслями и не свои слова говорю. Человек — не мыслями живёт, а бессмысленным желанием. Ум, учитель надоедливый, диктует ему: «Возле идёт человек». А ученик пишет: «Во зле идёт человек...»

— Это я, однажды, в училище такую диктовку написал, так учитель сказал мне:

— «Дурак, я тебя грамоте учу, а ты философствуешь!»

— Да. Безобразно закружилась Лариса Антоновна, смотрел я и думал: где благородство, где гордость её? До слёз, до отчаяния жалко было видеть, как она показывает со сцены тело своё, точно нищая язвы, милостыню выпрашивая. Дошло

даже до того, что и на меня она стала обращать внимание, — это всего большее и горше было мне.

— Обнимет и шепчет:

— «Съела я вас, Петруша? Ну, простите, ну, поцелуйте меня!»

— Я — целовал. Скрепя сердце, чуть не плача, а — целую и даже усердствую дать ей как можно больше удовольствия, только бы отвести её от грязного вихря, видел я, что она мучается, жалко ей отдавать душу свою во власть несытой плоти. Лицом постарела она немножко, и в фотографиях уже не так охотно снималась, как прежде, но тело у неё было девичье и ненасытно. А мне уже за сорок, и перержавела, перегорела мужская сила моя. Вспомнить страшно и стыдно любовные припадки Ларисы Антоновны. Господи, господа, — что обязан переживать человек!

— Бывало, уснёт она, а я сижу над нею, смотрю и шепчу безумно:

— «Это — ты? Ты?»

— А за окнами или вьюга воет или мороз трещит, сияет лунная ночь, — с трудом выношу я эти, всё обнажающие лунные ночи и летом и зимою. Сон они гонят и всегда ведут с собою светлые, холодные мысли, будь прокляты.

— Не понимаю, как я вычерпал и выпил горе моё, не сойдя с ума. Не знаю, как Лариса Антоновна могла мириться с душой своей, покорно

отдавая себя на терзания запоздалого чувства. Валялся в ногах её, умолял: уедемте! Нет. Как пьяного из кабака, невозможно было вывести её из омута этого, из театра. А над нею насмехались — открыто, безжалостно, и она видела это, разумеется. И от этого всё больше пила, а к людям у неё явился эдакий страшок и лисья ухватка, становилась она с ними льстива, как-то принижаться начала, а об успехах своих рассказывала только мне одному. Целые вечера слышу я одно и то же:

— «А помните, во Пскове... А помните, Петруша, в Херсоне...»

— Слушаю я и, чтоб приятно было ей, сам прилыгаю, выдумываю чего не было. Она понимала мою ложь, замолчит вдруг, присмотрится ко мне и кинется на шею:

— «Милый, как вы меня любите!»

— «Да, говорю, я люблю. Вы только не беспокойтесь...»

— А она:

— «Изо всех насмешек судьбы над человеком — нет убийственнее безответной любви».

— Это она, конечно, о докторе. Но — не верил я, что любит она доктора, так уж это было у неё — последняя копейка души. Мечта. Выдумка.

— В сорок четыре года начались у неё опасные сердечные припадки, и доктора сказали мне, что она может умереть неожиданно, на ходу.

Тогда, наконец, уговорил я её уехать за границу, — к морю, потребовала она. Поселились мы около городка Сан-Себастьяно, на морском берегу, сняли небольшой домик, обставил я его красиво, — на вот, Лариса Антоновна, умирай! Очень хорошо было там, на краю земли, и люди чужого языка тоже всегда кажутся лучше своих, ведь не понимаешь, что они говорят. Только по ночам страшно мне жилось, ночи там как-то вдруг настигают, едва солнце окунётся в океан — сейчас же, из-за гор, выплывет ночь, придавит землю и воду. В тихие ночи до бессмыслия угнетала меня эта, знаете, пустота под звёздами и безграничие океанской скуки. Угнетал, конечно, бессмысленностью своей, океаний грохот и вой прибоя волн. Поглядишь в окно: катится на берег тёмное что-то, как бы гонят табун белогривых коней, бешено скачет табун и вдруг — прыгнет на землю, ударит её, охнет земля, и домишко наш дрогнет весь, стёкла в окнах заноют. Но — всё-таки лучше, когда есть движение и шум, а в тихие ночи — нестерпимо. Вспоминал я тогда Колины речи о земле нашей, упоённой горем, и виновато злые речи доктора. Забыта земля наша разумом бога, забыта среди звёзд, и одиноки, чужды друг другу люди на ней! И вот, когда подумашь об этом, станет проникновенно ясно, до чего нужна человеку любимая женщина. Права Лариса Антоновна: с кем

лучше можно забыть об одиночестве своём? И в такие ночи любовь моя к ней углублялась бесконечно во тьму свою.

— Лежу, бывало, или тихонько, босиком, шагаю по своей комнате, жду: вот — охнет океан и услышу я предсмертный крик Ларисы Антоновны. Может, она уже вскрикнула, а я не слышал? Отворю дверь в её комнату, встану на пороге, слушаю — дышит? Чаще всего видел я — сидит она, прислонясь к спинке кровати, утопая в белом, как в пене, сидит закрыв глаза, неподвижно прислушиваясь к шуму океана, и такая покорность в ней, такая тоска. Умная, она понимала, что умирает, но, из гордости, не говорила об этом. Сам задохнёшься в тоске, сядешь на пол у двери, полужив, полумёртв, и сидишь час, два, три... Иногда, услышав, что я не сплю, Лариса Антоновна позовёт меня:

— «Петруша, идите ко мне, побудьте со мною!»

— И тихонько начинает:

— «Помните, как меня в Курске принимали?»

— Я, конечно, помню всё, что ей чудится.

— «Замечательно принимали, — говорю. — И вся ваша жизнь — замечательная!»

— Устанет она, замолчит, я ткнусь головою в ноги ей, лежу, молча молюсь ей:

«Счастье моё, жизнь моя — не умирай!»

— Не однажды она, печально, говорила:

— «Боже мой, как быстро седеете вы!»

— Видя, что для неё это тягостно, я стал немножко подкрашивать волосы. Это, сударь мой, совершенно невыносимо — жить для того, чтоб видеть только одно, — как умирает любимая женщина! Так, в параличе души, прожил я двести восемь дней, а на двести девятый скончалась Лариса Антоновна. На террасе. День был тихий, душный, даже океан не очень шумел. С утра ещё Лариса Антоновна сказала:

— «Сегодня я чувствую себя удивительно легко».

— И вышла на террасу, села в кресло, молча, как всегда, разглядывала волнение пустоты морской. Сиделка Агата принесла ей букет цветов, погладила она их милыми руками, спрятала в цветах лицо своё и вдруг — встала, схватилась за перила, покачнулась... Я едва успел подхватить её...

Человек встал, оглянулся дико и, сунув руки в карманы, прислонился к изразцам печи.

— Вот и всё! Там, под горою, на маленьком кладбище, я и похоронил её. Не хотелось везти в Россию, где она не нашла счастья. И сам года полтора не мог вернуться сюда, где горе было единственной пищей моей души.

Он взглянул на меня, нахмурясь, и строго сказал:

— Однако вы не думайте, что я жаловался на Ларису Антоновну, нет, это я рассказал только по причине вашего желания. Жаловаться же вообще бесполезно: человек человеку глух, подобно камню.

На белом фоне изразцов лицо его очень потемнело, особенно — под глазами. Он стоял, закрыв глаза, прямой, и как будто ещё тоньше стал за эту ночь.

Нити дождя за окном блестели светлее, усталый огонь фонаря потускнел. Отдалённо, едва слышно ворковали колокола, точно медные голуби, — это благовест к утренней службе в монастыре.

Человек неохотно и тихо говорил:

— Потом я всё-таки вернулся в Россию и вот снял здесь квартиру, потому что Лариса Антоновна напротив жила и всё началось отсюда. Издал её портреты, продаю открытки с них, не для выгоды, разумеется, а так...

Он протянул длинную, сухую руку в угол, указывая на вазу, на букет засохших цветов:

— Цветы эти — те самые, которые она последними держала в руках, но — погибли цветы! Советовали мне в известковой воде вымочить их — не помогло. Лаком покрыл — тоже не помогло. Только естественного образа лишились они.

Он подошёл в угол, к столу, осторожно, тонкими пальцами потрогал безобразные комки серо-грязного цвета и сказал глухо:

— Рассыпаются цветы прахом, и никакими средствами остановить это невозможно...



All rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher except for the use of brief quotations in a book review.

**«Strelbytsky
Multimedia Publishing»**

Saksaganskogo str., 58, office 8
Kiev, Ukraine, 01033

tel. +38044 331-06-20
e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

Все права защищены. Эта книга или любая ее часть не может быть воспроизведена или использована любым другим способом без письменного разрешения издателя исключая использование цитат из книг или иного способа предусмотренного законодательством.

**«Мультимедийное
издательство Стрельбицкого»**

ул. Сакаганского, 58, оф.8
Киев, Украина, 01033

тел. +38044 331-06-20
e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

**Электронная книга издана
«Мультимедийным издательством Стрельбицкого»**

С нашими изданиями электронных книг и аудиокниг вы можете познакомиться на сайтах:
www.strelbooks.com www.audio-book.com.ua

Желаем приятного чтения!
Свои замечания и предложения направляйте на e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

**Эта книга охраняется авторским правом
Copyright © 2016
«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»**